

Холодович Александр



ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ

18+

Александр Холодович

Точка замерзания

<https://litres.ru/74081871>

SelfPub; 2026

Аннотация

36,6°C. Раньше это было нормой. Теперь — смертным приговором.

Вирус из вечной мерзлоты заставляет кровь кристаллизоваться. Мир пуст, города зарастают, мутанты выходят на охоту. Учёный, потерявший семью, отправляется в путь через мёртвую страну, чтобы найти ответы. Бывший контрактник, оставшийся один в опустевшей деревне, учится выживать в новом мире. А где-то во тьме бронированный пёс-мутант собирает стаю, чтобы доминировать.

Они ещё не встретились. Но этот мир слишком тесен, чтобы разминуться.

Мрачный, атмосферный постапокалипсис о выживании, мутантах и человечности

Содержание

Глава 1. Ледяная колыбель.	4
Глава 2. Тихая перепись	9
Глава 3. Термометр треснул	16
Глава 4. Беркут	25
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Холодович

Точка замерзания

Глава 1. Ледяная колыбель.

«Все события, организации и персонажи являются вымышленными, любые совпадения случайны»

Они спали тридцать тысяч лет.

Глубокая арктическая вечная мерзлота была для них идеальным инкубатором — ни света, ни кислорода, ни колебаний температуры. Внутри крошечных пузырьков, запертых в монолитах льда, время остановилось. Вирус, не имевший даже официального названия в человеческой таксономии, ждал своего часа с терпением камня.

Все началось не с громкого взрыва или падения метеорита. Все началось со звука капающей воды.

Лето 2029 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В Сибири, на севере Канады и в Норвегии температура поднялась до аномальных значений. Тысячи лет вечной мерзлоты, эту хрупкую криосферу, разрывало изнутри. На поверхности появлялись провалы — огромные воронки, из которых сочилась древняя, насыщенная органикой жижа.

В районе села Батагай, в известном всем геологам «Вратах

ада» — гигантском термокарстовом провале, углубившемся на сотню метров, — произошло то, чего боялись давно. Вода растопила слой, нетронутый со времен неандертальцев. Под давлением освободились газы и нечто иное.

Лаборатория в Новосибирске получила образцы воды из этого провала через три дня. Лаборантка, тридцатидвухлетняя Анна Савицкая, торопилась домой — сегодня была её очередь забирать сына из садика, муж задерживался на дежурстве. Она даже не надела перчатки, когда переливала бурый раствор в пробирки. Ручка крана на лабораторной мойке протекала, и капли, словно метроном, отсчитывали секунды до катастрофы.

Она нечаянно разбила пробирку на третьей минуте эксперимента. Жидкость попала на царапину на ее руке.

То, как вирус действовал на живую клетку, было не просто убийством — это было искусство перепрофилирования. Большинство патогенов стремится использовать ресурсы носителя для своего размножения, убивая его в процессе. Этот же вел себя как дирижер оркестра.

Проникнув через мембрану с помощью шиповых белков, не похожих ни на один известный науке (впоследствии их назовут «Крипто-шип»), РНК-вирион перехватывал управление рибосомами. Но он не копировал себя бездумно. Вместо этого он заставлял клетки-хозяина вырабатывать белок, который менял полярность воды внутри организма.

Звучит сложно, но проявление было чудовищно просто:

вода внутри живых существ переставала быть растворителем.

В крови, в лимфе, в цитоплазме клеток начинался необратимый фазовый переход. Она кристаллизовалась — не как при морозе, а как при нарушении поверхностного натяжения.

Через 18 часов после заражения Анна почувствовала холод. В тот момент в Новосибирске было плюс 27, а она дрожала и закутывалась в халат. Ее пальцы побелели.

К утру следующего дня симптомы проявились у девяти сотрудников лаборатории. Они испытывали мучительную жажду — тело пыталось разбавить кристаллизирующуюся кровь, но это ускоряло процесс. Когда капилляры глазного дна замерзали, зрение пропадало, и человек видел только собственное отражение в обратной перспективе — так говорили выжившие на первой стадии, прежде чем сойти с ума.

Но вирус не ограничивался млекопитающими. Он оказался пантропным — поражающим всё. Комар, укусивший мышь, становился переносчиком, но сам мутировал: его гемолимфа превращалась в гель, крылья ломались под тяжестью собственной влаги. Птицы, пившие воду из луж возле Батагая, падали с неба камнями — их легкие, заполненные пористым льдом, не могли вздохнуть. Вирус начал свою тихую переписку, и в этом списке человек был лишь одной из многих строк.

Через неделю катастрофа вышла из-под научного контро-

ля. Воды сибирских рек несли разрушенные кристаллы вируса в Северный Ледовитый океан. Аэрозольный механизм передачи включился, когда талая вода испарялась с поверхности провалов. Ветер подхватил вирус и понес его на юг.

Животные умирали первыми, и это было страшнее всего. Стая волков, зараженная у общей кормушки с мертвым оленем, начинала вести себя неестественно: они перестали бояться людей, их глаза мутнели изнутри, а из пасти шел пар при жаре. Они не нападали — они теряли связь с реальностью, начинали бегать по кругу, пока их сердца не превращались в стекло.

К тому моменту, когда ВОЗ объявила «Черную тревогу», вирус, который окрестили «Вирус Обратной Кристаллизации» (Reverse Crystallization Virus, RCV-1), уже был на всех континентах. Его привозили туристы, возвращавшиеся с Байкала. Его везли контейнеровозы с лесом и газом. Он путешествовал в перелетных птицах, которые вдруг перестали ориентироваться на магнитное поле Земли — вирус уничтожил кристаллы магнетита в их клювах.

Человечество не готовилось к агенту, который действовал не как яд и не как инфекция. Он действовал как время. Он заставлял жидкую жизнь превращаться в холодный, твердый камень.

И когда в конце августа отключилось электричество в первом мегаполисе, люди поняли: старый мир не умирает. Он просто замерзает изнутри.

Температура 36,6 — цифра, которую человечество считало эталоном здоровья, — стала смертным приговором.
Добро пожаловать в вечную зиму.



Глава 2. Тихая перепись

Вирус не разбирал, кто перед ним — охотник или жертва, хищник или травоядный. Но он оказался удивительно разборчивым по иной причине. Как старый, уставший от жизни счетовод, он методично пересчитывал теплокровных — и ставил жирные кресты там, где тела пылали ровно 36 с половиной градусов.

Впрочем, обо всём по порядку.

Как вода становится ножом.

Человек умирал красиво. По крайней мере, так сказал бы патологоанатом, если бы ему довелось вскрывать миллиарды тел. Заражённый RCV-1 на третьи сутки начинал светиться изнутри — нет, не в переносном смысле. Преломление света на микрокристаллах в стекловидном теле глаза давало странный эффект: зрачки мерцали, будто в них запеклась снежная крупа. А когда сердце пыталось протолкнуть сквозь артерии уже полутвёрдую кровь, сосуды лопались с сухим треском, похожим на хруст первой ледяной корки на луже.

Игла в вене — бесполезно. Инфузия — всё равно что пытаться разбавить кисель.

Люди падали на колени, сжимая грудную клетку в попытке согреть её изнутри ладонями. Последнее, что они видели, — собственное отражение в замерзающей слезе.

Но человек был лишь самой громкой страницей в этой

книге.

Волчий финал

Стая, что держалась в лесах за Батагаем, встретила вирус на пятый день после того, как загнала больного лося. Лось шатался — из ноздрей у него шёл пар при плюс двадцати.

Альфа-самец, матёрый, с седой мордой, укусил лося за горло. И в ту же секунду почувствовал, как его собственная слюна становится колючей.

Волки — не люди. Их температура выше на два градуса. Им давала фору целая эволюция зимовок: перед снежным сезоном их кровь насыщалась мочевиной и глюкозой настолько, что могла течь при минус пяти. Организм знал, как бороться с холодом.

Но RCV-1 не был холодом. Он был изменением правил.

У волка не замерзала кровь мгновенно. Вместо этого вирус вызывал в гипоталамусе ложный сигнал: «Срочно сбросить температуру, мы тонем в жаре». Механизм срабатывал как выключатель. Волк начинал тяжело дышать, высовывать язык, искать тень. Когда температура тела падала с 39 до 37 градусов — кристаллы вступали в игру. Не во всей крови сразу, а в капиллярах мозга. Альфа-самец прожил ещё двенадцать часов. Он метался по лесу, не видя ничего из-за инея на роговице, и скулил, прижимаясь к замерзшей земле.

Из стаи в девять голов выжили четыре. Те, кто был мельче, с более короткой шерстью — у них температура держалась выше, и они успели переболеть, пока вирус не набрал

критическую массу. Выжившие волки не стали зомби — они просто ослепли почти полностью. И научились охотиться на слух.

Вот так родилась новая порода: слепой вересковой волк. Ни один человек не придумал бы этого названия.

Птичий гамбит

Вороны, сидевшие на проводах над вымершим городом, чувствовали себя отвратительно. Их температура — 42 градуса. Это почти на шесть градусов выше, чем у человека для начала кристаллизации. Вирус топтался вокруг их клеток, как пьяный у дверей закрытого магазина.

Но он нашёл лазейку. Во время ночного похолодания, когда птица спала и её метаболизм замедлялся, температура тела падала до тридцати восьми с половиной. Вирус бил короткими, болезненными вспышками: кристаллизация в воздушных мешках, параллельных лёгким. Ворон падал с проводов, хрипел, но через час вставал. Лёгкие очищались — вирус не мог закрепиться в столь горячем теле.

Из десяти городских ворон выжили девять. Они линяли после болезни, теряли перья на голове и оставались лысыми до конца жизни. Но летали по-прежнему. И каркали теперь так, словно у них в горле застряли льдинки.

Мышиная арифметика

Подвалы вымерших зданий стали убежищем для серых полёвок. У них вирус свирепствовал, но странно: вместо того чтобы убивать, он встраивался в клетки печени и почек,

заставляя их производить не кристаллы, а сахар. Глюкозу. Сорбитол.

Мыши, переболевшие RCV-1, начинали пить втрое больше воды, их моча была сладкой. Кристаллы не росли, потому что высокая концентрация сахаров работала как автомобильный антифриз. Вирус и мышь пришли к симбиозу: он жил в её печени, она получала пожизненную защиту от любых других инфекций.

Только вот зубы у таких мышей росли с ужасной скоростью — приходилось грызть бетон, чтобы стачивать резцы.

Насекомые и их молчаливая победа

Жук-усач, которого в энтомологических атласах называли *Monochamus ugussovii*, смотрел на гигантов свысока. Он пережил своих ровесников-динозавров, он переживёт и этот вирус. В его гемолимфе — нет, не кровь, а густая, маслянистая жидкость — плескалась тридцатипроцентная трегалоза. Сахар, который не снился ни одному кондитеру.

Когда вирус проникал в его тело через дыхальца, он попал в среду, где кристаллизация невозможна до минус двадцати. RCV-1 просто растворялся в трегалозе, как ложка соли в море. Жук не заметил ничего, кроме лёгкого зуда в брюшке.

Из миллиарда насекомых в сибирской тайге погибло, возможно, несколько миллионов — те, кто не успел накопить защитных сахаров к сезону. Остальные ползали, жужжали и грызли древесину, равнодушные к концу света.

Рыбы и их ледяная привилегия

На глубине двадцати метров в озере Байкал вода никогда не поднималась выше плюс четырех. Вирус RCV-1, попавший сюда с талыми ручьями, встретил омуля. И обомлел — в переносном смысле.

В крови байкальской рыбы с рождения плавали гликопротеины, которые не давали замёрзнуть ни одной молекуле воды. Они были настолько эффективны, что вирус даже не пытался атаковать. Он просто плавал в воде, пока его не съедали инфузории.

Байкальский омуль умирал только от рук браконьеров, которых больше не осталось. Рыба процветала.

Зеленый шум

Растения даже не заметили.

Дуб, клён, одуванчик и мох — у них не было ни рецепторов, ни нужной температуры, ни жидкой крови. Вирус попадал на лист, высыхал на солнце и превращался в безобидную пыльцу. Единственным видимым эффектом стало то, что у некоторых тропических орхидей, привезённых в оранжереи, лепестки покрывались тонкой ледяной коркой по утрам. Но к полудню она таяла.

Через месяц после того, как последняя электростанция замолчала, плющ начал карабкаться по стенам мёртвых небоскрёбов. Без людей, которые сбрасывали листву, растения росли с пугающей скоростью. К осени Лондон, Нью-Йорк и Токио стали зелёными. Не серыми, не чёрными — зелёными.

Итог

Вирус зачистил с лица Земли один вид. Почти полностью. Оставшиеся люди — одна сотая одного процента — бродили по планете, где волки охотились вслепую, вороны каркали осипшими глотками, а под ногами шуршали мыши с сахарной кровью.

Главное, что понял бы любой учёный, если бы дожил до этого лета:

Природа не любит пустоты.

И она никогда не любила термометр с отметкой 36,6.

Вода продолжит течь, даже если ей прикажут замёрзнуть.

А жизнь продолжит дышать, даже если воздух наполнен древней, ледяной мезью из глубин вечной мерзлоты.

В конце концов, вирус оказался не палачом. Он был цензором.

Он вычеркнул самых тёплых. И оставил тех, кто способен хранить холод внутри себя — буквально или фигурально.

Так начался мир, где человек перестал быть венцом творения. Он стал его слабой, почти забытой нотой — на фоне шелеста листвы, волчьего хрипа и жужжания жуков, которым плевать на всё, кроме собственного сахара.

Термометр больше ничего не решал. Жизнь отныне измерялась не градусами, а способностью не замёрзнуть изнутри.



Глава 3. Термометр треснул

Алексей Горелов проснулся от того, что его дочь перестала дышать.

Это случилось на четвёртый день после того, как он привёз в лабораторию образцы талой воды из Батагая. На четвёртый день — он знал это с точностью до минуты, потому что вёл дневник. Учёные привыкли фиксировать всё, даже собственную гибель.

В ту ночь в Екатеринбурге было плюс двадцать три. Зоя, его семилетняя дочь, лежала в своей кровати с розовыми простынями, на которых были нарисованы единороги. Её лицо казалось спокойным, если не знать, что нормальный цвет кожи у живого человека не бывает восковым с голубоватым отливом. Алексей коснулся её лба. Кожа была холодной — не как у спящего ребёнка, а как у бутылки молока, только что из холодильника.

И вдруг вспомнил, как три дня назад, ещё до всего, Зоя прибежала в прихожую встречать его с работы — ворвалась, хохоча, и прижалась горячей щекой к его руке. А он, усталый, мыслями ещё в лаборатории, мягко отстранил её: «Зоя, дай папе раздеться». А теперь прижимал её ледяную ладонь к своей щеке и не мог согреть.

Его рука дёрнулась к её запястью. Пульса не было.

Он не закричал. Он сидел на краю её кровати, сжимая ма-

ленькую, уже чужую ладонь, и считал. Один. Два. Три. Пять. Десять. Счёт не помогал, но это было единственное, что он мог сделать, не проваливаясь в бездну. Потом он поднял веко дочери. Глазное яблоко покрывала тонкая, как паутина, ледяная корка, преломлявшая свет ночника в радужные блики.

Красиво. Чудовищно красиво.

Вирус добрался до неё через него. Алексей знал это наверняка. Сам он не заболел. Точнее, его тело заболело, но победило. Антифризный белок AFP-X, доставшийся от матери-якутки, блокировал кристаллизацию. Он промучился два дня: озноб, жар до 39, чувство, что вены промывают ледяной крошкой. А потом всё прошло. Он даже не понял, что стал носителем.

Вирус размножался в его слюне, в поте, в микрочастицах кожи. Он обнимал дочь перед сном. Читал ей сказку про храброго зайца. Целовал в макушку. Каждый поцелуй был приговором.

День первый

Зоя заболела на следующее утро. Сначала — просто вялость. Она не захотела есть свои любимые оладьи с вареньем, сидела на кровати, кутаясь в одеяло. Алексей измерил температуру — 36,6. Идеальная, ровная, как линия на кардиограмме остановившегося сердца.

Он ошибся.

К вечеру Зоя начала пить. Не просить — требовать. «Па-

па, пить, ещё пить, я хочу ещё», — это была не жажда, а иссушение, крик клеток, которые пытались разбавить кристаллизующуюся цитоплазму. Алексей носил ей воду кружку за кружкой, но она не напивалась и не мочилась — вода уходила в никуда, связывалась с вирусными белками, превращалась в лёд при температуре живого тела.

День второй

На второй день её пальцы побелели. Не как на морозе — кончики пальцев стали фарфоровыми, будто глина до обжига. Зоя плакала, но слёзы, едва выступив из глаз, тягуче застывали на щеках крошечными горошинами льда. Она говорила, что видит «снежинку внутри глаза», большую, колючую, которая плавает и мешает смотреть мультики.

Алексей знал, что это не снежинка. Это кристаллизация стекловидного тела — один из первых и самых верных признаков RCV-1, который он сам помогал идентифицировать в их лаборатории.

Ирина начала кашлять в тот же день. Коротко, сухо, словно в горле застрял кусочек наждачной бумаги. Он измерил температуру жены — 36,6. Дважды. Трижды. Термометр словно треснул пополам и застыл на одной цифре, отказываясь показывать что-то иное.

Алексей впервые почувствовал то, что потом станет его постоянным спутником — смесь животного ужаса и полного научного бессилия. Он знал патофизиологию каждой стадии, мог нарисовать цикл репликации вириона с закрытыми

глазами, но не мог сделать ничего. Абсолютно ничего.

День третий

На третий день Зоя перестала узнавать его по утрам.

— Где мой папа? — спросила она, глядя прямо на Алексея, сидевшего у её кровати. Зрачки девочки мерцали, как два осколка зеркала, и он видел в них только своё искажённое отражение. Кристаллы, растущие в глазном яблоке, преломляли свет, превращая мир ребёнка в ледяной калейдоскоп. Она видела не лицо отца, а фрактальные узоры ада.

Он держал её за руку. Рука была сухой и холодной, как осенний лист, тронутый первым инеем. Пульс на запястье едва прощупывался — сердце толкало кровь, которая с каждым часом становилась всё более вязкой. Алексей вспомнил термин из физики — «фазовый переход». Та вода в пробирке, которую привезли из Батагая, прошла через него за три секунды. Кровь его дочери проходила через него уже третьи сутки, и этот переход был растянут в вечность.

День четвёртый

К ночи третьего дня Зоя впала в кому. Дыхание стало поверхностным, редким. Алексей и Ирина по очереди сидели у кровати. Он слышал, как в соседней комнате кашляет жена — уже не сухо, а с бульканьем, словно в груди у неё закипал холодный чай.

Около четырёх утра Алексей, сморённый усталостью, провалился в сон, сидя на стуле. А когда проснулся — стояла та самая тишина. Дочь не дышала.

В комнате было плюс двадцать три. За окном пели ранние птицы — вороны, подумал он позже, те самые вороны, что переживут всё это, облысев и осипнув. Но воздух вокруг кровати Зои казался ледяным.

Он не закричал. Крик требовал сил и какого-то непозволительного сейчас самозабвения. Он просто сидел на краю кровати, сжимал маленькую, уже чужую ладонь и считал. Один. Два. Три. Пять. Десять. Счёт был единственным ритмом, который удерживал его рассудок от полного коллапса.

Потом он поднял веко дочери. Глазное яблоко покрывала тонкая, как паутина, ледяная плёнка, преломлявшая свет ночника в радужные блики. Это было красиво — чудовищно, нечеловечески красиво. Форма, заменившая жизнь.

Жена вошла через пятнадцать минут.

Ирина была библиотекарем, и она носила в себе ту особую, пыльную тишину книгохранилищ, которую Алексей так любил. Она неслышно ступала босыми ногами по половицам, остановилась на пороге детской и произнесла одно слово:

— Нет.

Это не было криком. Это был скол. Трещина, которая прошла по всей её психике, от лобной доли до затылка. Алексей видел, как в её глазах что-то умерло раньше, чем вирус начал свою работу. Она подошла к кровати, отодвинула его в сторону — не грубо, а машинально — и начала поправлять на Зое одеяло, расправляя невидимые складки. Этот жест был

страшнее любой истерики.

Ирина умерла на шестой день.

К тому моменту в городе не работала уже ни одна больница. Алексей лечил её сам — ставил капельницы с физраствором, вливал в рот тёплую воду, растирал одеялами. Её тело нагревалось до тридцати пяти и падало обратно. Вирус играл с ней, как кошка с мышью.

Самым страшным в памяти были дни болезни жены. Ирина умирала на его глазах пять суток. Пять бесконечных, наполненных хрипами и мольбами суток, в течение которых он, иммунный носитель, учёный, изучавший этот вирус, не мог сделать ничего. Он ставил ей капельницы с физраствором — иглы забивались микрокристаллами. Он вливал ей в рот тёплую воду — она вытекала обратно по подбородку, смешанная с ледяной крошкой, которая образовывалась прямо на языке. Он растирал её одеялами, грел своим телом, но её температура взлетала до 37, а потом снова падала до роковых 36,6, словно тело заключило какой-то страшный пакт с вирусом.

Алексей не спал. Он не ел — кусок хлеба, который он попытался проглотить на второй день, показался ему песком. Всё его существо сосредоточилось на одном: отсрочить неизбежное. Он уговаривал её клетки словами, он матерился на вирус, он плакал сухими, без слезинки, глазами и умолял Бога, в которого не верил. Однажды ночью, когда Ирина в очередной раз потеряла сознание, он поймал себя на том, что

сидит в коридоре и мерно бьётся затылком о стену, считая удары. Один. Два. Три. Пять. Десять.

За два часа до смерти Ирина очнулась. Сознание вернулось к ней неожиданно, словно вирус на мгновение ослабил хватку, давая им время попрощаться. Её глаза были ясными, почти прежними, и в них стояла такая глубокая, такая спокойная печаль, что Алексей задохнулся.

— Лёша, — прошептала она. Голос был сухим, как шорох осенних листьев. — Ты знал, что это будет?

— Нет, — соврал он, поправляя сбившееся одеяло. Он знал. Он понял всё в тот момент, когда увидел в микроскопе, как молекулы воды в образце выстраиваются в кристаллическую решётку при двадцати градусах Цельсия. Знал, но надеялся, что они успеют создать вакцину. Время, которое они выигрывали у природы, закончилось.

— У Зои... был твой ген? — спросила Ирина. Она не плакала — слёз в организме не осталось, вся жидкость была связана в лёд. Вопрос был сухим и точным, как библиотечная карточка.

— Нет, — честно ответил он. — Только у меня. Это рецессивная мутация. Я дал ей одну копию, но от тебя пришла нормальная. Она была гетерозиготной носительницей. Не защищена.

— Скажи проще, — попросила она, и слабая тень улыбки тронула её потрескавшиеся губы. — Как для библиотекаря. Алексей посмотрел на свои руки. Руки, которые не смогли

спасти никого.

— Господь Бог, эволюция и случай решили, что я останусь один.

Ирина закрыла глаза. Он думал, что она снова теряет сознание, но она просто кивнула — медленно, принимая этот приговор. Через час началась агония.

Он слышал её дыхание: каждый вдох давался с хрипом, с булькающим звуком, словно воздух проходил через слой ледяной каши. Её лёгкие заполнял кристаллический экссудат — вирус создавал лёд прямо в альвеолах, превращая нежную, воздушную ткань в хрупкую губку. Ирина больше не могла говорить, только смотрела на него, и в её взгляде он читал не страх, а одну лишь бесконечную усталость. Он взял её за руку. Пальцы жены были холодны и легки, как высушенные морозом ветки.

Последний вдох. Выдох. Тишина.

Термометр, который он машинально сжимал в другой руке, выскользнул из ослабевших пальцев и с тихим звоном треснул об пол. Ртуть выкатилась на линолеум блестящими шариками и замерла.

36,6. Цифра, которую он когда-то считал эталоном здоровья, стала эпитафией на невидимом надгробии.

Алексей опустил голову на край кровати, всё ещё сжимая ледяную ладонь жены. За окном занимался серый, равнодушный рассвет. По карнизу, хрипло каркая, прохаживались две лысые вороны. В подвале шуршали мыши, чья кровь

стала сладкой. Город умирал беззвучно, укутанный в зелёный саван наступающей со всех сторон растительности. А он остался. Один, посреди холодной Вселенной, которая только что доказала: температура 36,6 — это билет в один конец.

Где-то далеко, за тысячи километров, в пробах, разосланных в лаборатории мира, тихо потрескивал лёд.



Глава 4. Беркут

До.

Илья Березин родился в городе Слободской Кировской области. Отца он помнил плохо — тот ушёл, когда Илье было пять. Мать работала продавщицей в ларьке, много пила и умерла от цирроза, когда сыну исполнилось пятнадцать. После этого его забрала к себе бабушка, Вера Павловна, — сухонькая, вечно ворчащая, но невероятно живучая женщина, которая могла заквасить огурцы, починить утюг и разогнать местных хулиганов одной фразой.

Илья вырос при ней. Она была ему не просто бабушкой — она была матерью, единственным человеком, который никогда не предавал и не уходил. В детстве она лечила его разбитые коленки подорожником, в юности — отпаивала чаем с малиной, когда он являлся с гулянок простуженный, в армию писала письма ровным, старательным почерком, выводя каждую букву, как школьница. «Илюшка, ты там не пропади. Ты у меня шустрый». «Шустрый» было её любимое слово.

После школы — армия, потом контракт. Три года в мотострелковой бригаде сделали из него человека, который умеет всё: стрелять, штопать раны, спаять контакты лезвием и зажигалкой, находить выход из любой дурацкой ситуации. Командиры ценили его за «устойчивость к бытовой дури» и способность не тупить, когда вокруг все тупят.

За месяц до вируса он уволился. Просто выгорел. Вернулся к бабушке в деревню Масленники — три улицы, магазин, школа, которая уже десять лет как закрыта, тишина такая, что слышно, как за окном растёт трава. Устроился охранником в сетевой магазин в райцентре и от скуки начал перекрывать крышу в бабушкином сарае. Старый шифер крошился в руках, стропила подгнили, но работа была приятной — простой, понятной, с видимым результатом. Он как раз закончил обрешётку, когда по телевизору начали показывать странные новости.

Как умирала деревня

Сначала никто ничего не понял. Говорили про какой-то вирус в Сибири, про таяние вечной мерзлоты, про вспышку неизвестной инфекции в одной из лабораторий. Илья чистил картошку на кухне и слушал краем уха. «Очередная свиньячка, — думал он. — Сейчас нагонят паники, запретят выезд, а через месяц окажется, что всё было зря». Илья тогда хмыкнул и сказал себе: «Березин, ты как тот прапорщик, который не верил, что над частью НЛО видели, пока ему лично по голове не прилетело».

На третий день после первого репортажа в их деревне умерла баба Нюра с соседней улицы. Говорили, замёрзла насмерть в собственном доме при плюс двадцати. Илья тогда хмыкнул: «Бред». Он знал бабу Нюру — крепкая была старуха, боевая, сама картошку копала до прошлого года. Не могла она замёрзнуть в августе.

На пятый день умерло ещё четверо. В том числе участковый фельдшер, который пытался помочь бабе Нюре. Фельдшер был мужик лет сорока, никогда не болел, а тут — сторел за двое суток, оставив пустой медпункт с распахнутой дверью и никем не охраняемыми лекарствами. Илья зашёл туда на шестой день. На полу лежал перевёрнутый стул, валялись смятые рецепты, а на кушетке, укрытый чьим-то пальто, лежал фельдшер с лицом человека, который так и не понял, что его убило.

На седьмой день в деревне выключили свет. На восьмой — перестали работать телефоны. Радио на батарейках ещё шипело, но вместо новостей передавали только зацикленное предупреждение: «Граждане, соблюдайте гигиену, избегайте контактов» — и гудки.

Илья ходил по деревне каждый день. Это была его привычка, выработанная контрактной службой: разведка местности, оценка обстановки. Он видел, как пустеют улицы. Сначала исчезли старики — те, что вечно сидели на лавочках у магазина и лузгали семечки. Потом пропали редкие дети — он слышал, как в доме напротив плакал младенец, а потом наступила тишина, и он понял, что младенец замолчал навсегда. Потом перестали выходить женщины, что ходили за водой к колонке. Потом — мужики, что курили у гаражей.

К исходу девятого дня Илья остался в деревне один. То есть, возможно, кто-то ещё прятался за запертыми ставнями, но на улицу не выходил никто.

Болезнь бабушки

Бабушка заболела на десятый день.

Всё началось с сухого, короткого кашля. Такого же, какой за несколько дней до этого он слышал от фельдшера, когда тот ещё ходил и пытался лечить. Кашель был колючий, будто в лёгких у человека не воздух, а битое стекло.

— Илюш, что-то мне зябко, — сказала бабушка в то утро, кутаясь в оренбургский платок. — Лето на дворе, а меня колотит.

Он измерил ей температуру — 36,6. Точно такая же, как у него пару дней назад, когда его самого тряс озноб и бил жар. Ровная, идеальная, будто издевательская. Илья знал, что он переболел за двое суток — вирус прошёл сквозь него, как огонь сквозь солому, оставив только слабость и горький осадок во рту. Он переболел и выжил. Но бабушка — старая, с больным сердцем, с гипертонией, — бабушка была другой.

К вечеру первого дня она начала пить воду. Кружку за кружкой, словно в организме у неё была бездонная яма. Илья носил ей воду с колонки, грел на печке, добавлял мёд — она пила, но губы оставались сухими, а кожа на руках — пергаментной.

— Пей, бабуль, пей, — шептал он, вливая ей в рот тёплую воду. Она делала глоток, другой, а потом вода начинала вытекать обратно, смешанная с ледяной крошкой, которая появлялась прямо на языке. Илья не понимал, откуда берётся эта крошка. Потом понял — и ему стало по-настоящему

страшно.

На второй день бабушка перестала вставать. Лежала на кровати, прикрытая ситцевым одеялом с цветочками, и смотрела в потолок. Зрачки её мерцали, будто в них застыла слюда, и она то и дело щурилась — кристаллы в глазном яблоке преломляли свет, превращая комнату в мутный аквариум.

— Темно что-то, Илюш, — сказала она. — Ты свет зажги.

Света не было уже три дня. Он зажжёт свечу и поставил на тумбочку. Бабушка слабо улыбнулась.

— Вот спасибо. Теперь вижу. Ты мой беркут.

«Беркут» было ещё одно её слово. Она называла его так с детства — когда он в пять лет залез на старую яблоню и сидел там, высматривая что-то в небе. «Смотри, мать, — смеялась она тогда, — вылитый беркут. Того и гляди, взлетит».

На третий день её кожа начала белеть. Не как у замёрзшего человека — фарфорово, а как у старой, выцветшей фотографии. Пальцы на руках стали тонкими и ломкими, ногти посинели. Илья растирал ей ступни, укутывал в два одеяла, ставил грелку с горячей водой, но температура её тела неуклонно падала. Тридцать пять с половиной. Тридцать пять и одна. Тридцать четыре и восемь.

Он знал, что это конец. Знал — но не мог смириться. Руки сами тянулись сделать хоть что-то, хоть самую малость, хоть поправить одеяло, хоть смахнуть ледяную крошку с её подбородка.

— Не уходи, бабуль, — сказал он однажды ночью, когда думал, что она спит. — Ты только не уходи. Ты одна у меня.

Она не ответила — она спала или была без сознания. Но через минуту её сухая, лёгкая, как птичья лапка, рука тронула его запястье.

— Я тута, Илюш. Я не уйду. Ты ж мой беркут. Как я тебя брошу?

Смерть

Она умерла на четвёртый день.

Это случилось не так, как описывали в новостях про RCV-1. Вирус не успел превратить её тело в ледяную глыбу, не довёл до комы и фрактальных узоров в глазах. На фоне обезвоживания и гипотермии её сердце — старое, больное, сто раз штопанное в райцентровской больнице, — не выдержало нагрузки. Коронарный спазм оборвал жизнь раньше, чем кристаллы добрались до коры головного мозга.

Илья знал, что это — милосердие.

Она отходила тяжело: дыхание стало прерывистым, грудная клетка ходила ходуном, а на губах пузырилась розоватая пена. Илья стоял рядом с ней на коленях, сжимал её ледяную руку и считал вдохи. Один. Два. Три. Пять. Десять. Счёт сбивался, слёзы застилали глаза, и тогда он начинал заново, потому что если не считать, можно было сойти с ума.

На последнем вдохе бабушка открыла глаза. Они были уже почти мутными, почти затянутыми льдом, но он видел — она его узнала. Узнала и попыталась что-то сказать.

— Илюш ты не пропади там — выдохнула она обрывками, и каждый обрывок давался ей с хрипом, с бульканьем, с таким трудом, будто она выталкивала слова из-под ледяной толщи. — Ты живой у меня. Шустрый. Беркут. Лети

И затихла.

Илья не закричал. Он продолжал стоять на коленях, сжимать её руку и смотреть в спокойное, побелевшее лицо, на котором застыло выражение не страха, а странной, нездешней заботы. Она и в последнюю секунду думала о нём.

Через минуту он поднялся, перекрестился и накрыл её лицо краем ситцевого одеяла.

— Царствие небесное, бабуль. Спи спокойно.

А потом он сел на пол, прислонившись спиной к её кровати, и разревелся. Взрослый мужик, двадцать пять лет, бывший контрактник, умеющий накладывать жгут вслепую и разбирать автомат Калашникова за сорок секунд, — сидел и плакал, уткнувшись лицом в колени. Слёзы текли по небритым щекам, капали на воротник, а он не вытирал их. Он не мог. Каждое движение требовало сил, которых больше не было.

«Вот и всё. Остался один».

Он просидел так долго. Может быть, час. Может быть, два. За окном темнело, на мёртвую деревню опускался серый августовский вечер, и ни одно окно не светилось, ни одна собака не лаяла. Только лысые вороны, сидевшие на проводах, каркали чужими, осипшими голосами, да где-то далеко, за

лесом, выли те самые волки — слепые, переболевшие, но всё ещё живые.

Ночь без опьянения

Когда слёзы кончились, Илья встал. Достал из буфета поллитровку водки, которую держал на случай гостей. Свинтил пробку, налил полную кружку — граммов двести, не меньше — и выпил, не закусывая, не морщась. Водка прошла по пищеводу ледяной волной и провалилась в желудок, оставив после себя лишь слабое, отстранённое тепло где-то на периферии сознания.

Он подождал пять минут. Десять. Вместо глухого забытья, на которое он надеялся, навалилась лишь лёгкая, едва ощутимая муть. Илья списал это на стресс: бывает, когда горе такое, что даже водка не берёт. Но всё равно стало обидно — даже это последнее укрытие от него ускользало.

Он всё равно допил бутылку до половины. Не ради опьянения — ради ритуала. Ради того, чтобы сделать хоть что-то, что люди делают, когда теряют родных.

Потом сел обратно на пол, прислонился к кровати и закрыл глаза. В голове было пусто и тихо, как в зимнем лесу.

И тогда он запел.

Это была старая песня, которую бабушка пела ему в детстве, когда укладывала спать. Он даже не помнил, откуда она взялась, — возможно, из какого-то старого фильма, возможно, из её собственной юности, затерянной где-то в пятидесятых, когда она ещё была не Верой Павловной, а просто Ве-

рочкой и ходила на танцы в клуб кожевенного завода. Слова всплыли сами, как будто кто-то другой — тот, маленький, с разбитыми коленками, — запел из прошлого:

«Ах, зачем эта ночь Так была коротка, Ах, зачем так светила луна Была мама моя молода и красива, И, как лебедь, была хороша»

Голос у него был низкий, с хрипотцой — не певческий, не красивый, но на удивление ровный. Он пел тихо, почти без эмоций, глядя на тело бабушки под одеялом, на огонёк свечи, который отражался в её глазах — тех, что уже ничего не видели.

«Но прошли те года, Не вернуть никогда Той любви, что горела в груди. И теперь, когда маму свою вспоминаю, Ничего нет прекрасней в пути»

На последней строке голос сорвался. Илья замолчал, прикусил губу и снова закрыл глаза.

Свеча догорела, и комната погрузилась в темноту. Илья протянул руку и бережно, двумя пальцами, опустил бабушке веки — теперь она словно просто спала.

— Лети, бабуль, — прошептал он. — Ты своё отпахала. Теперь мой черёд.

14 августа 2029 года. Поздний вечер. В этот самый час, в восьмистах километрах к востоку, в мёртвом Екатеринбурге, угасала другая свеча. Алексей Горелов — учёный, потерявший жену и дочь, — сидел у холодного тела Ирины и смотрел, как ртутные шарики из разбитого термометра растека-

ются по линолеуму. Он не знал о существовании Ильи Березина. Илья понятия не имел, что где-то на свете есть человек по фамилии Горелов. Два совершенно разных мира, две судьбы, которые никогда не пересекались в прошлой жизни. Но этой ночью их связывало одно и то же горе, одна и та же тишина и один и тот же ледяной август, укравший у каждого всё, что они любили.

Этот день стал последним днём прошлой жизни. Завтра начинался первый день другой, незнакомой жизни.

Снаружи, в крапиве у забора, шуршали мыши с сахарной кровью. На трубе, что торчала над мёртвым домом, сидел лысый ворон и чистил клюв о ржавое железо. А Илья Березин, двадцатипятилетний беркут, которому бабушка велела лететь, сидел на полу, сжимая в руке пустую кружку, и не знал, куда ему лететь теперь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.